

Б И Б Л И О Т Е К А

„ОГОНЁК“

И. С. ТУРГЕНЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ПРАВДА“

1949

СОДЕРЖАНИЕ

Дым	Стр. 3
Новь. <i>Роман в двух частях</i>	143
Примечания	366

Обложка художника С. Телингатера

А — 05229 Подп. к печати 13/V 1949 г. Печ. л. 23. Авт. л. 24.

Тираж — 125 000. Заказ № 945.

Типография газеты «Правда» имени Сталина
Москва, ул. «Правды» 24.

Б И Б Л И О Т Е К
„ОГОНЕК“

И. С. ТУРГЕНЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Н. Л. БРОДСКОГО, И. А. НОВИКОВА, А. А. СУРКОВА

Т О М

4



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“

Москва, 1949

ДЫМ



10-го августа 1862 года, в четыре часа пополудни, в Баден-Бадене, перед известною «Conversation»¹ толпилось множество народа. Погода стояла прелестная; все кругом — зеленые деревья, светлые дома уютного города, волнистые горы — все празднично, полною чашей раскинулось под лучами благосклонного солнца; все улыбалось как-то слепо, доверчиво и мило, и та же неопределенная, но хорошая улыбка бродила на человеческих лицах, старых и молодых, безобразных и красивых. Самые даже насурмленные, набеленные фигуры парижских лореток не нарушали общего впечатления ясного довольства и ликования, а пестрые ленты, перья, золотые и стальные искры на шляпках и вуалях невольно напоминали взору оживленный блеск и легкую игру весенних цветов и радужных крыл: одна лишь повсюду рассыпавшаяся, сухая, гортанная трескотня французского жаргона не могла ни заменить пичьего щебетанья, ни сравниться с ним.

А впрочем, все шло своим порядком. Оркестр в павильоне играл то попури из *Травиаты*, то вальс Штрауса, то *Скажите ей*, российский романс, положенный на инструменты услужливым капельмейстером; в игорных залах, вокруг зеленых столов, теснились те же всем знакомые фигуры, с тем же тупым и жадным, не то изумленным, не то озлобленным, в сущности хищным выражением, которое придает каждому, даже самым аристократическим чертам картежная лихорадка; тот же тучноватый и чрезвычайно шегольски одетый помещик из Тамбова, с тою же непостижимою, судорожною поспешностью, выпуча глаза, ложась грудью на стол и не обращая внимания на холодные усмешки самих «крупиез», в самое мгновение возгласа: «rien ne va plus!»² рассыпал вспотевшею рукой по всем четвероугольникам рулетки золотые кружки луидоров, и тем самым лишал себя всякой возможности что-нибудь выиграть, даже в случае удачи; что несколько не мешало ему, в тот же вечер, с сочувственным негодованием поддакивать князю Кокб, одному из известных предводителей дворянской оппози-

¹ [Сборное место для посетителей курорта.]

² [Условный возглас в игре, запрещающий делать дальнейшие ставки.]

ции, тому князю Кокò, который в Париже, в салоне принцессы Матильды, в присутствии императора, так хорошо сказал: «Madame, le prince de la propriété est profondément ébranlé en Russie»¹. К русскому дереву — à l'Arbre russe — обычным порядком собирались наши любезные соотечественники и соотечественницы; подходили они пышно, небрежно, модно, приветствовали друг друга величественно, изящно, развязно, как оно и следует существам, находящимся на самой высшей вершине современного образования; но, сойдясь и усевшись, решительно не знали, что сказать друг другу, и пробавлялись либо дрянненьким переливанием из пустого в порожнее, либо затасканными, крайне нахальными и крайне плоскими выходками давным-давно выдохшегося французского экс-литератора, в жидовских башмаченках на мизерных ножках и с презренною бородкой на паскудной мордочке, шута и болтуна. Он им врал, à ces princes russes², всякую пресную дребедень из старых альманахов *Шаривари* и *Тентамарра*, а они, ces princes russes, заливались благодарным смехом, как бы невольно сознавая и подавляющее превосходство чужестранного умника, и собственную окончательную неспособность придумать что-нибудь забавное. А между тем тут была почти вся «fine fleur»³ нашего общества, «вся знать и моды образцы». Тут был граф Х., наш несравненный дилетант, глубокая музыкальная натура, который так божественно «сказывает» романсы, а в сущности двух нот разобрать не может, не тывая вкось и вкривь указательным пальцем по клавишам, и поет не то как плохой цыган, не то как парижский коафер; тут был и наш восхитительный барон Z., этот мастер на все руки: и литератор, и администратор, и оратор, и шулер; тут был и князь Y., друг религии и народа, составивший себе во время оно, в блаженную эпоху откупа, громадное состояние продажей сивухи, подмешанной дурманом; и блестящий генерал О. О., который что-то покорил, кого-то усмирил, и вот, однако, не знает, куда деться и чем себя зарекомендовать; и Р. Р., забавный толстяк, который считает себя очень больным и очень умным человеком, а здоров как бык и глуп как пень... Тот же Р. Р. почти один в наше время еще сохранил предания львов сороковых годов, эпохи *Героя нашего времени* и графини Воротынской. Он сохранил и походку в раскачку на каблуках, и «le culte de la rose»⁴ (по-русски этого даже и сказать нельзя), и неестественную медлительность движений, и сонную величественность выражения на неподвижном, словно обиженном лице, и привычку, зевая, перебивать чужую речь, тщательно рассматривать собственные пальцы и ногти, смеяться в нос, внезапно пере-

¹ [Сударыня, принцип собственности совершенно расшатан в России.]

² [этим русским князьям.]

³ [«сливки»]

⁴ [«культ поэзы»]

двигать шляпу с затылка на брови и т. д., и т. д. Тут были даже государственные люди, дипломаты, тузы с европейскими именами, мужи совета и разума, воображающие, что золотая булла издана папой и что английский «*poor-tax*»¹ есть налог на бедных; тут были, наконец, и рьяные, но застенчивые поклонники камелий, светские молодые львы с превосходнейшими проборами на затылках, с прекрасными висячими бакенбардами, одетые в настоящие лондонские костюмы, молодые львы, которым, казалось, ничего не мешало быть такими же пошляками, как и пресловутый французский говорун; но нет! не в ходу, знать, у нас родное,— и графиня Ш., известная законодательница мод и гран-жанра, прозванная злыми языками «Царицей Ос» и «Медузою в чепце», предпочитала, в отсутствие говоруна, обращаться к тут же вертевшимся италиянцам, молдаванцам, американским «спиритам», бойким секретарям иностранных посольств, немчикам с женоподобною, но уже осторожною физиономией и т. п. Подражая примеру графини, и княгиня Babette, та самая, у которой на руках умер Шопен (в Европе считают около тысячи дам, на руках которых он испустил дух), и княгиня Annette, которая всем бы взяла, если бы по временам, внезапно, как запах капусты среди тончайшей амбры, не проскакивала в ней простая деревенская прачка, и княгиня Rachette, с которою случилось такое несчастье: муж ее попал на видное место и вдруг, *Dieu sait pourquoi*², прибил градского голову и украл 20.000 р. с. казенных денег, и смешливая княжна Зизй, и слезливая княжна Зозо; все они оставляли в стороне своих земляков, немилостиво обходились с ними... Оставим же и мы их в стороне, этих прелестных дам, и огойдем от знаменитого дерева, около которого они сидят в таких дорогих, но несколько безвкусных туалетах, и пошли им господь облегчения от грызущей их скуки!

II

В нескольких шагах от «русского» дерева, за маленьким столом перед кофейной Вебера сидел красивый мужчина лет под тридцать, среднего роста, сухощавый и смуглый, с мужественным и приятным лицом. Нагнувшись вперед и опираясь обеими руками на палку, он сидел спокойно и просто, как человек, которому и в голову не может придти, чтобы кто-нибудь его заметил или занялся им. Его карие с желтизной, большие выразительные глаза медленно посматривали кругом, то слегка прищуриваясь от солнца, то вдруг упорно провожая какую-нибудь мимо проходящую, эксцентриче-

¹ [«налог для бедных»]

² [бог весть почему.]

скую фигуру, причем быстрая, почти детская усмешка чуть-чуть трогала его тонкие усы, губы и выдающийся крутой подбородок. Одет он был в просторное пальто немецкого покроя, и серая, мягкая шляпа закрывала до половины его высокий лоб. На первый взгляд он производил впечатление честного и дельного, несколько самоуверенного малого, каких довольно много бывает на белом свете. Он, казалось, отдыхал от продолжительных трудов, и тем простодушнее забавлялся растилавшеюся перед ним картиной, что мысли его были далеко, да и вращались они, эти мысли, в мире, вовсе не похожем на то, что его окружало в этот миг. Он был русский; звали его Григорием Михайловичем Литвиновым.

Нам нужно с ним познакомиться, и потому приходится рассказать в коротких словах его прошедшее, весьма незатейливое и несложное.

Сын отставного служаки-чиновника из купеческого рода, он воспитывался не в городе, как следовало ожидать, а в деревне. Мать его была дворянка, из институток, очень доброе и очень восторженное существо, не без характера однако. Будучи двадцатью годами моложе своего мужа, она его перевоспитала, насколько могла, перетащила его из чиновничьей колеи в помещичью, укротила и смягчила его дюжий, терпкий нрав. По ее милости он стал и одеваться опрятно, и держаться прилично, и браниться бросил; стал уважать ученых и ученость, хотя, конечно, ни одной книги в руки не брал, и всячески старался не уронить себя: даже ходить стал тише и говорил расслабленным голосом, все больше о предметах возвышенных, что ему стоило трудов немалых. «Эх! взял бы, да выпорол!» думал он иногда про себя, а вслух произносил: «да, да, это... конечно; это вопрос». Дом свой мать Литвинова также поставила на европейскую ногу; слугам говорила: «вы», и никому не позволяла за обедом наедаться до сопения. Что же касается до имени, ей принадлежавшего, то ни она сама, ни муж ее ничего с ним сделать не сумели: оно было давно запущено, но многоземельно, с разными угодьями, лесами и озером, на котором когда-то стояла большая фабрика, заведенная ревностным, но безалаберным баринном, процветавшая в руках плута-купца и окончательно погибшая под управлением честного антрепренера из немцев. Госпожа Литвинова уже тем была довольна, что не расстроила своего состояния и не наделала долгов. К несчастью, здоровьем она похвалиться не могла и скончалась от чахотки в самый год поступления ее сына в московский университет. Он не кончил курса, по обстоятельствам (читатель узнает о них впоследствии), и угодил в провинцию, где потолок несколько времени без дела, без связей, почти без знакомых. По милости нерасположенных к нему дворян его уезда, проникнутых не столько западною теорией о вреде «абсентизма», сколько доморо-

шенным убеждением, что «своя рубашка к телу ближе», он в 1855 году попал в ополчение и чуть не умер от тифа в Крыму, где, не видав ни одного «союзника», простоял шесть месяцев в землянке на берегу Гнилого моря; потом послужил по выборам, конечно, не без неприятностей, и, пожив в деревне, пристрастился к хозяйству. Он понимал, что именно его матери, плохо и вяло управляемое его одряхлевшим отцом, не давало и десятой доли тех доходов, которые могло бы давать, и что в опытных и знающих руках оно превратилось бы в золотое дно; но он также понимал, что именно опыта и знания ему недоставало — и он отправился за границу учиться агрономии и технологии, учиться с азбуки. Четыре года слишком провел он в Мекленбурге, в Силезии, в Карлсруэ, ездил в Бельгию, в Англию, трудился добросовестно, приобрел познания: не легко они ему давались, но он выдержал искуc до конца, и вот теперь, уверенный в самом себе, в своей будущности, в пользе, которую он принесет своим землякам, пожалуй даже всему краю, он собирается возвратиться на родину, куда с отчаянными заклинаниями и мольбами в каждом письме звал его отец, совершенно сбитый с толку эманципацией, разверстанием угодий, выкупными сделками, новыми порядками, одним словом... Но зачем же он в Бадене?

А затем он в Бадене, что он со дня на день ожидает приезда туда своей троюродной сестры и невесты — Татьяны Петровны Шестовой. Он знал ее чуть не с детства и провел с ней весну и лето в Дрездене, где она поселилась с своею теткой. Он искренно любил, он глубоко уважал свою молодую родственницу и, окончив свою темную, приготовительную работу, собираясь вступить на новое поприще, начать действительную, не коронную службу, предложил ей, как любимой женщине, как товарищу и другу, соединить свою жизнь с его жизнью на радость и на горе, на труд и на отдых, «for better, for worse»¹, как говорят англичане. Она согласилась, и он отправился в Карлсруэ, где у него оставались книги, вещи, бумаги... Но почему же он в Бадене, спросите вы опять?

А потому он в Бадене, что тетка Татьяны, ее воспитавшая, Капитолина Марковна Шестова, старая девица пятидесяти пяти лет, добродушнейшая и честнейшая чудачка, свободная душа, вся горящая огнем самопожертвования и самоотвержения, esprit fort² (она Штрауса читала, — правда, тихонько от племянницы) и демократка, заклятая противница большого света и аристократии, не могла устоять против соблазна хотя разочек взглянуть на самый этот большой свет в таком модном месте, каков Баден... Капитолина Марковна ходила без кри-

¹ [«на хорошее и на плохое».]

² [вольнодумка]

нолина и стригла в кружок свои белые волосы, но роскошь и блеск тайно волновали ее, и весело и сладко было ей бранить и презирать их... Как же было не потешить добрую старушку?

Но оттого-то Литвинов так спокоен и прост, оттого он так самоуверенно глядит кругом, что жизнь его отчетливо ясно лежит пред ним, что судьба его определилась, и что он гордится этою судьбой, и радуется ей, как делу рук своих.

III

— Ба! ба! ба! вот он где! — раздался вдруг над самым его ухом пискливый голос, и оtekшая рука потрепала его по плечу.

Он поднял голову — и узрел одного из своих немногочисленных московских знакомых, некоего Бамбаева, человека хорошего, из числа пустейших, уже немолодого, с мягкими, словно разваренными щеками и носом, взъерошенными жирными волосами и дряблым тучным телом. Вечно без гроша и вечно от чего-нибудь в восторге, Ростислав Бамбаев шлялся с криком, но без цели, по лицу нашей многосносной матушки земли.

— Вот что называется встреча! — повторял он, расширяя заплывшие глазки и выдвигая пухлые губки, над которыми странно и неуместно торчали крашенные усы. — Ай да Баден! Все сюда как тараканы лезут. Как ты сюда попал?

Бамбаев «тыкал» решительно всех на свете.

— Я четвертого дня сюда приехал.

— Откуда?

— Да на что тебе знать?

— Как на что! Да постой, постой, тебе, может быть, неизвестно, кто еще сюда приехал? Губарев! Сам, своей особой! Вот кто здесь! Вчера из Гейдельберга прикатил. Ты, конечно, с ним знаком?

— Я слышал о нем.

— Только-то? Помилуй! Сейчас, сию минуту мы тебя к нему потащим. Эдакого человека не знать! Да вот кстати и Ворошилов... Постой, ты, пожалуй, и с ним не знаком? Честь имею вас друг другу представить. Оба ученые! Это даже феникс! Поцелуйтесь!

И сказав эти слова, Бамбаев обратился к стоявшему возле него красивому молодому человеку с свежим и розовым, но уже серьезным лицом. Литвинов приподнялся и, разумеется, не поцеловался, а обменялся коротеньким поклоном с «фениксом», которому, судя по строгости осанки, не слишком понравилось это неожиданное представление.

— Я сказал: феникс, и не отступаю от своего слова, — продолжал Бамбаев: — ступай в Петербург, в — ий корпус,

и посмотри на золотую доску: чье там имя стоит первым? Ворошилова, Семена Яковлевича! Но Губарев, Губарев, братцы мои!! Вот к кому бежать, бежать надо! Я решительно благоговею перед этим человеком! Да не я один, все сподряд благоговеют. Какое он теперь сочинение пишет, о... о... о!..

— О чем это сочинение? — спросил Литвинов.

— Обо всем, братец ты мой, вроде, знаешь, Бёкля... только поглубже, поглубже... Все там будет разрешено и приведено в ясность.

— А ты сам читал это сочинение?

— Нет, не читал, и это даже тайна, которую не следует разглашать; но от Губарева всего можно ожидать, всего! Да! — Бамбаев вздохнул и сложил руки. — Что если б еще такие две, три головы завелись у нас на Руси, ну что бы это было, господи боже мой! Скажу тебе одно, Григорий Михайлович: чем бы ты ни занимался в это последнее время, — а я и не знаю, чем ты вообще занимаешься, — какие бы ни были твои убеждения, — я их тоже не знаю, — но у него, у Губарева, ты найдешь, чему поучиться. К несчастью, он здесь не надолго. Надо воспользоваться, надо идти. К нему, к нему!

Проходивший франтик с рыжими кудряшками и голубою лентой на низкой шляпе обернулся и с язвительною усмешкой посмотрел сквозь стеклышко на Бамбаева. Литвинову досадно стало.

— Что ты кричишь? — промолвил он: — словно гончую на след накликаешь! Я еще не обедал.

— Что ж такое! Можно сейчас у Вебера... втроем... Отлично! У тебя есть деньги заплатить за меня? — прибавил он вполголоса.

— Есть-то есть; только я, право, не знаю...

— Перестань, пожалуйста; ты меня благодарить будешь, и он рад будет. Ах, боже мой! — перебил самого себя Бамбаев. — Это они финал из «Эрнани» играют. Что за прелесть!.. A Som... то Carlo...! Экой однако я! Сейчас в слезы. Ну, Семен Яковлевич! Ворошилов! Идем что ли?

Ворошилов, который все еще продолжал стоять неподвижно и стройно, сохраняя прежнее, несколько горделивое достоинство осанки, знаменательно опустил глаза, нахмурился и промышчал что-то сквозь зубы... но не отказался; а Литвинов подумал: «Что же! сделаем и это, благо время есть». Бамбаев взял его под руку, но прежде чем направился в кофейную, кивнул пальцем Изабелле, известной цветочнице Жокей-Клуба: ему вздумалось взять у ней букет. Но аристократическая цветочница не пошевелинулась; да и с какой стати было ей подходить к господину без перчаток, в запачканной плюсовой

¹ [Великому Карлу...]

куртке, пестром галстукe и стоптанных сапогах, которого она и в Париже-то никогда не видала? Тогда Ворошилов, в свою очередь, кивнул ей пальцем. К нему она подошла, и он, выбрав в ее коробке крошечный букет фиалок, бросил ей гульден. Он думал удивить ее своею щедростью; но она даже бровью не повела, и когда он от нее отвернулся, презрительно скорчила свои стиснутые губы. Одет Ворошилов был очень щегольски, даже изысканно, но опытный глаз парижанки тотчас подметил в его туалете, в его тюнюре, в самой его походке, носившей следы рановременной военной выправки, отсутствие настоящего, чистокровного «шику».

Усевшись у Вебера в главной зале и заказав обед, знакомцы наши вступили в разговор. Бамбаев громко и с жаром потолковал о высоком значении Губарева, но скоро умолк и, шумно вздыхая и жуя, хлопал стакан за стаканом. Ворошилов пил и ел мало, словно нѣхотя, и, расспросив Литвинова о роде его занятий, принялся высказывать собственные мнения... не столько об этих занятиях, сколько вообще о различных «вопросах»... Он вдруг оживился и так и помчался, как добрый конь, лихо и резко отчеканивая каждый слог, каждую букву, как молодец-кадет на выпускном экзамене, и сильно, но не в лад размахивая руками. С каждым мгновением он становился все речистей, все бойчей, благо никто его не прерывал: он словно читал диссертацию или лекцию. Имена новейших ученых, с прибавлением года рождения или смерти каждого из них, заглавия только что вышедших брошюр, вообще имена, имена, имена дружно посыпались с его языка, доставляя ему самому высокое наслаждение, отражавшееся в его запылавших глазах. Ворошилов видимо презирал всякое старье, дорожил одними сливками образованности, последнюю, передовую точкой науки; упомянуть, хотя бы некстати, о книге какого-нибудь доктора Зауэрбегеля о пенсильванских тюрьмах или о вчерашней статье в «Азиатик Джёрнал», о Ведах и Пуранах (он так и сказал: «Джёрнал», хотя, конечно, не знал по-английски) — было для него истинною отрадой, благополучием. Литвинов слушал его, слушал, и никак не мог понять, какая же собственно его специальность? То он вел речь о роли кельтйского племени в истории; то его уносило в древний мир, и он рассуждал об эгинских мраморах, напряженно толковал о жившем до Фидиаса ваятеле Онатасе, который, однако, превращался у него в Ионатана, и тем на миг наводил на всё его рассуждение не то библейский, не то американский колорит; то он вдруг перескакивал в политическую экономию и называл Бастиа дураком и деревяншкой, «не хуже Адама Смита и всех физиократов...» «Физиократов! — прошептал ему вслед Бамбаев... — Аристократов?..» Между прочим Ворошилов вызвал выражение изумления на лице того же самого Бамбаева небрежно и

вскользь кинутым замечанием о Маколее, как о писателе устарелом и уже опереженном наукой; что же до Гнейста и Рилля, то он объявил, что их стоит только назвать, и пожал плечами. Бамбаев также плечами пожал. «И все это разом, безо всякого повода, перед чужими, в кофейной,— размышлял Литвинов, глядя на белокурые волосы, светлые глаза, белые зубы своего нового знакомого (особенно смущали его эти крупные сахарные зубы, да еще эти руки с их неладным размахом), — и не улыбнется ни разу; а со всем тем, должно быть, добрый малый и крайне неопытный...» Ворошилов уgomонился наконец; голос его, юношески-звонкий и хриплый как у молодого петуха, слегка порвался... кстати ж Бамбаев начал декламировать стихи и опять чуть не расплакался, что произвело впечатление скандала за одним соседним столом, около которого поместилось английское семейство, и хихиканье за другим: две лоретки обедали за этим вторым столом с каким-то престарелым младенцем в лиловом парике. Кельнер принес счет; приятели расплатились.

— Ну! — воскликнул Бамбаев, грузно приподнимаясь со стула: — теперь чашку кофе и марш! Вон она, однако, наша Русь, — прибавил он, остановившись в дверях и чуть не с восторгом указывая своей мягкой, красною рукой на Ворошилова и Литвинова... — Какова?

«Да, Русь», подумал Литвинов; а Ворошилов, который уже опять успел придать лицу своему сосредоточенное выражение, снисходительно улыбнулся и слегка щелкнул каблуками.

Минут через пять они все трое поднимались вверх по лестнице гостиницы, где остановился Степан Николаевич Губарев... Высокая, стройная дама в шляпке с короткою черною вуалеткой проворно спускалась с той же лестницы, и увидав Литвинова, внезапно обернулась к нему и остановилась, как бы пораженная изумлением. Лицо ее мгновенно вспыхнуло и потом так же быстро побледнело под частой сеткой кружева; но Литвинов ее не заметил, и дама проворнее прежнего побежала вниз по широким ступеням.

IV

— Григорий Литвинов, рубашка-парень, русская душа, рекомендую, — воскликнул Бамбаев, подводя Литвинова к человеку небольшого роста и помещичьего склада, с расстегнутым воротом, в куцой куртке, серых утренних панталонах и в туфлях, стоявшему посреди светлой, отлично убранной комнаты; — а это, — прибавил он, обращаясь к Литвинову: — это он, тот самый, понимаешь? Ну, Губарев, одним словом.

Литвинов с любопытством уставился на «того самого». На первый раз он не нашел в нем ничего необыкновенного. Он

видел перед собою господина наружности почтенной и немного туповатой, лобастого, глазастого, губастого, бородастого, с широкой шеей, с косвенным, вниз устремленным взглядом. Этот господин осклабился, промолвил: «Ммм... да... это хорошо... мне приятно...», поднес руку к собственному лицу и тотчас же, повернувшись к Литвинову спиной, ступил несколько раз по ковру, медленно и странно переваливаясь, как бы крадучись. У Губарева была привычка постоянно расхаживать взад и вперед, то и дело подергивая и почесывая бороду концами длинных и твердых ногтей. Кроме Губарева, в комнате находилась еще одна дама в шелковом поношенном платье, лет пятидесяти, с чрезвычайно подвижным, как лимон желтым лицом, черными волосиками на верхней губе и быстрыми, словно выскочить готовыми, глазами; да еще какой-то плотный человек сидел, сгорбившись, в уголку.

— Ну-с, почтенная Матрена Семеновна,— начал Губарев, обращаясь к даме и видно не считая нужным знакомить ее с Литвиновым:— что, бишь, вы начали нам рассказывать?

Дама (звали ее Матреной Семеновной Суханчиковой, она была вдова, бездетная, небогатая, и второй уже год странствовала из края в край) заговорила тотчас с особенным, ожесточенным увлечением:

— Ну, вот он и является к князю и говорит ему: ваше сиятельство, говорит,— вы в таком сане и в таком звании, говорит, что вам стоит облегчить мою участь? Вы, говорит, не можете не уважать чистоту моих убеждений! И разве можно, говорит, в наше время преследовать за убеждения? И что ж, вы думаете, сделал князь, этот образованный, высокопоставленный сановник?

— Ну, что он сделал? — промолвил Губарев, задумчиво закуривая папироску.

Дама выпрямилась и протянула вперед свою костлявую правую руку с отделенным указательным пальцем.

— Он призвал своего лакея и сказал ему: «сними ты сейчас с этого человека сюртук и возьми себе. Я тебе дарю этот сюртук!»

— И лакей снял? — спросил Бамбаев, всплеснув руками.

— Снял и взял. И это сделал князь Барнаулов, известный богач, вельможа, облеченный особенною властью, представитель правительства! Что ж после этого еще ожидать?

Все тщедушное тело г-жи Суханчиковой тряслось от негодования, по лицу пробегали судороги, чахлая грудь порывисто колыхалась под плоским корсетом; о глазах уже и говорить нечего; они так и прыгали. Впрочем, они всегда прыгали, о чем бы она ни говорила.

— Вопиющее, вопиющее дело! — воскликнул Бамбаев, — Казни нет достойной!

— Ммм... ммм... Сверху донизу все гнило, — заметил Губарев, не возвышая, впрочем, голоса. — Тут не казнь... тут нужна... другая мера.

— Да полно, правда ли это? — промолвил Литвинов.

— Правда ли? — подхватила Суханчикова. — Да в этом и думать нельзя сомневаться, д-у-у-у-мать нельзя... — Она с такою силой произнесла это слово, что даже скорчилась. — Мне это сказывал один вернейший человек. Да вы его, Степан Николаич, знаете — Елистратов Капитон. Он сам это слышал от очевидцев, от свидетелей этой безобразной сцены.

— Какой Елистратов? — спросил Губарев. — Тот, что был в Казани?

— Тот самый. Я знаю, Степан Николаич, про него распустили слух, будто он там с каких-то подрядчиков или винокуров деньги брал. Да ведь кто это говорит? Пеликанов! А возможно ли Пеликанову верить, когда всем известно, что он просто — шпион!

— Нет, позвольте, Матрена Семеновна, — вступился Бамбаев: — я с Пеликановым приятель; какой же он шпион?

— Да, да, именно, шпион!

— Да постойте, помилуйте...

— Шпион, шпион! — кричала Суханчикова.

— Да нет же, нет, постойте; я вам что скажу, — кричал в свою очередь Бамбаев.

— Шпион, шпион! — твердила Суханчикова.

— Нет, нет! Вон Тентелеев, это другое дело! — заревел Бамбаев уже во все горло.

Суханчикова мгновенно умолкла.

— Про этого барина я достоверно знаю, — продолжал он обыкновенным своим голосом: — что когда третье отделение его вызвало, он у графини Блазенкрампф в ногах ползал и все пищал: «спасите, заступитесь!»! А Пеликанов никогда до такой подлости не унижался.

— Мм... Тентелеев... — проворчал Губарев: — это... это заметить надо.

Суханчикова презрительно пожала плечом.

— Оба хороши, — заговорила она: — но только я про Тентелеева еще лучше анекдот знаю. Он, как всем известно, был ужаснейший тиран со своими людьми, хотя тоже выдавал себя за эманципатора. Вот он раз в Париже сидит у знакомых, и вдруг входит мадам Бичер-Стоу, — ну, вы знаете, *Хижина дяди Тома*. Тентелеев человек ужасно чванливый, стал просить хозяина представить его; но та, как только услышала его фамилию: «Как — говорит: — смей знакомиться с автором *Дяди Тома*?» Да хлоп его по щеке! — «Вон! — говорит, — сейчас!» — И что ж вы думаете! Тентелеев взял шляпу, да поджавши хвост и улизнул.